

ГРАЧИ

Всегда, когда берусь писать новый рассказ, я вспоминаю строчки хорошего поэта Николая Старшинова: «...Возможно, об этом писать и не следует, // А может, и следует. Я вот пишу». Действительно — ну кто может сказать: о чём писать следует, а о чём — нет? А коли никто не знает, то я пишу и — да спасут меня эти старшиновские строчки.

У каждого в детстве были свои грачи. У меня они были вот такие.

Давно это было, я ещё совсем маленьким был, лет пяти-шести. Семи лет в школу пошёл, а в ту зиму, помню, отец меня и на улицу, пожалуй, ни разу не пустил. Трудное время было. Тяжело жили. Одни штаны и те разноцветные, как на клоуне. Ни сапог, ни катанок. Вот и сидел я всю суровую сибирскую зиму в глухой, заросшей тугими снегами саманной избушке. Прежним хозяином была поставлена эта

избушка косо к ветрам, и заваливали бураны снегами наши окна и двери так, что приходилось моим родителям рыть в снегах целые тоннели, чтобы на простор выйти. Только откапаются, день-другой свежим воздухом подышим, а буран — сызнава. Весело было. Теперь таких буранов не стало, спокойнее зимы пошли. Мягче. Здесь хочу подметить, что самыми буранными у нас были ветры, которые дули с юга. Сейчас не знаю как, но в пятидесятых годах прошлого столетия, когда я только-только начинал познавать этот мир, эти южные ветры были всегда со снегами, с буранами, с грозами и дождями. А вот северные приносили только холод. Я в те годы никак не мог понять стишок — «мороз десятиградусный // трещит в аллеях парка». Как это — десять градусов и трещит? И у меня было представление, что по железнодорожному парку идёт дедушка Мороз и палкой трещит по забору. Балуется...

Отец мне тогда хорошее занятие придумал. Левое плечо у него пулей немецкой было поломано, не работал он нигде, пенсия грошовая, а жить нужно было, вот и вязал он сети, зимы напролёт вязал. Вязал быстро, а меня научил нитки для него на челнок наматывать. В ходу было шесть челноков. За день он их спускал все. Сначала мне это занятие туго давалось, а потом ничего, обвыкся. Так зиму и жили. Мать — по хозяйству, отец — с сетями, и я при деле.

Но вот приходила весна. Перво-наперво отогревались окна. В хате светлело, бураны стихали, снег мокрел и оседал. Чем выше становилось небо, тем сильнее мне на улицу охота было. И наступал день, когда батя разрешал мне в галошах, подвязанных верёвочками, выйти в снеговую траншею.

Солнце с каждым днем всё круче и круче забиралось на небо, за огородами появлялись первые проплешины чёрной земли. Утренники были ещё крепкими, но держались недолго — солнце ярое входило в силу и первыми лучами сбивало со снегового наста ломкую хрустящую корку. И вот, когда однажды в середине дня в первой весенней лужице начинали с громким чириканьем купаться отогревшиеся воробьи, отец откладывал на подоконник челнок и весело говорил:

— Всё, мать! Перезимовали...

А через день, через два прилетали грачи.

За нашими огородами, на поле раскинувшейся гриве, словно огромный сад, располагался берёзовый колок. Берёзы были старые, высоченные. И каждый год на их вершинах гнездились грачи.

Они наваливались на колок чёрным распахнутым веером, и всё оживало.

Снеговая траншея становилась мельче и мельче, плешины оттаявшей земли шире и шире, и, когда на солонцах не оставалось снега, грачи прилетали к нашим огородам.

Наступала пора охоты. Нет, не на уток — на грачей.

Отец доставал из ларя ковш пшеницы, и однажды утром я рассыпал две-три горсти зерна на чёрной плешине как можно ближе к сараю.

Грачи, наверно, не знали, что они съедобные, и смело садились на приманку. Когда их набиралось достаточно, отец оставлял сеть и брал ружьё. Старенькая тульская двустволка! Я смотрел на неё заворожённо и старался вобрать в себя каждое отцово движение. Вот он кладёт ружьё цевьём в левую ладонь и большим пальцем правой руки нажимает чёрную планку — стволы мягко ломаются. Затем он вкладывает в стволы позеленевшие латунные патроны, незаметное движение и — лёгкий щелчок — сломанные стволы становятся на место. Два латунных патрона, такие позеленевшие! и старенькое ружьё, то самое, что висело всю зиму над кроватью, становится в руках отца чем-то таким торжественным и тревожным, что я слышу, как гулко и сильно стучит моё сердце.

Стрелял отец быстро, целился самую малость. Это я запомнил ещё с тех пор и уже потом не раз отмечал батино умение мгновенно реагировать на летящую птицу. Первый весенний дуплет — и полтора десятка исковерканных дробью грачей оставалось лежать на земле.

Как мне завидовали соседские пацаны! Не все жили так, как мы, но были и такие, и победней. Моё счастье заключалось в том,

что в нашем доме имелось ружьё, а в их домах ружей не было, а у многих и отцов-то не было.

Наверно, не умерли бы мы в тот год с голоду и без грачей, была в доме и картошка, и лук был, а скоро и рыба на столе появилась бы. Но это я так рассуждаю с позиции мужчины, у которого на кухне стоит не пустой холодильник, и жена которого просыпается утром без тяжёлых мыслей — чем же я сегодня детей кормить буду?

Мне не было и семи лет, и не мог я так рассуждать, я просто жил очарованный весенним солнцем, батиной тульской двустволкой и где-то подсознательно ощущал собственную причастность к извечной мужской заботе о хлебе.

Я стоял около стола, на котором лежали убитые грачи. Были они сизые, с чёрными натруженными клювами и серыми узловатыми лапами, испачканными весенним сырým чернозёмом. И не было мне их жалко. Я ещё совсем не знал жизни, чтобы пугаться чужой смерти. Я приоткрывал им веки, глаза у них были чёрные, бездонные, заглядывал в мёртвые зрачки и видел в них своё отражение — изогнутое, как в начищенном самоваре.

ЛЁНЬКА

Лёнька лежал на сене и ртом ловил муху. Нос у Лёньки короткий и плоский, губы толстые. Он только что пришёл с пасеки и теперь лежал за домом на сене и

тихо мечтал. Лёнька всегда любил мечтать: он и в школе мечтал, и в армии, а теперь и дома. Мечтал он, мечтал, о чём попало мечтал, вот уже вроде и мечта в струнку выстроилась, красивой стала, и тут, на тебе, муха! И откуда вывернулась? Губы у Лёньки мёдом пахнут, муха сядет на бороду, крыльшками пострижёт, хоботок лапками почешет и — к губе. Забыл Лёнька о чём мечтал, охотиться начал. Лежит, глаза прикрытые, а нервы начеку — муха по губе ползёт, по самому краешку, но Лёнька знает: пока она ползёт — ловить её бесполезно, внимательная. А вот когда остановится и хоботком щупать станет, то всё её внимание в мёд уходит. Гам! — Лёнька шлёпнул губами, муха улетела. Проходит минута-другая, и муха садится снова на бороду... На шестой или седьмой попытке Лёнька хитрость придумал: губы отворил, дырочку маленькую сделал. Вот если бы муха в Лёнькин рот заглянула, тут бы ей и хана была, но муха в дырочку не заглядывала. Из дырочки мёдом не пахло, мёдом пахло на губе, по губе она и топталась. И всё-таки Лёнька муху гамкнул, резко так — гам! — и мухи не стало.

— Тьфу, зараза, — он даже сел от удивления. Только сел, только сплюнул, только глаза распахнул, про муху враз забыл. В конце огорода стояла корова и спокойно жевала молодые подсолнухи.

— Во даёт, а? — Лёнька при- свистнул. Корова была чёрная с белыми плешинами, подсолнухи

были зелёными, и ела она их очень аккуратно: не колготилась, не топталась, ровно стояла и только головой поворачивала: налево повернёт — шляпки нету, направо — ещё шляпки нету, а позади неё уже прокос образовался.

— От жисть, полежать не дадут, — Лёнька встал и запустил в корову камнем. Ёкнул коровий бок, и животина, сминая подсолнухи, галопом перемахнула канаву и направилась в луг. Надо бы огород загородить, подумал Лёнька и почесал затылок. Об этой изгороди он думал всегда, когда в огород залезала скотина, и всегда при этом чесал затылок. Почешет затылок, почешет и рукой махнёт. Махнул он рукой и на этот раз.

Лежать больше не хотелось, и Лёнька направился в дом. На крыльце Лёнькиного дома сидел Венька, соседский карапуз. Было Веньке четыре года, бегал он в одной рубашке, сверкал всякими деталями и был постоянно грязный и сопливый.

— Дядя Лёня, исделай мне рогатку, — он держал в руках красный резиновый шланг.

— О, смотри, какая резина хорошая, — Лёнька взял шланг и растянул его. Венька смотрел, как хорошо растягивается шланг и вопросительно ждал.

— Рогатку, говоришь? Рогатку можно, а почему нет? Только давай вот чего сделаем: давай сначала в шланг подуемся, кто кого передует...

У Веньки заблестели глаза. Это же очень интересно — подуться в

шланг. Щёки у Веньки толстые, Венька об этом знает, а вдруг да и передует он дядю Лёню.

Лёнька сел на крыльцо рядом с Венькой, вытер концы шланга о штаны и подал один из них Веньке. Венька с готовностью засунул конец шланга себе в рот и дуть приготовился. Лёнька тоже конец шланга себе в рот засунул.

— Ну, дуй! — скомандовал он, а сам свой конец прикусил зубами и ждёт.

Напыжился Венька и изо всех сил дуть начал. Дует карапуз в шланг, даже уши покраснели, а обмана не чувствует. Дул, дул, а дяде Лёне хоть бы хны, как сидел спокойный, так и сидит, но тоже вроде старается. Устал Венька, дух перевёл. Только снова дуть решил, только воздуху полный живот набрал, а дядя Лёня его опередил, взял да и дунул в Веньку. Венькин организм этого не ожидал. Полезли пузыри из венькиного носа, а Лёнька захотел и на крыльцо повалился от собственного веселья. Венька — в рёв, да к себе домой.

— Эй, стрелок, резину забери, — покатываясь со смеху, кричал вдогонку Лёнька...

А было Лёньке двадцать шесть лет, и не был он дурачком, а работал в селе пожарным. На шестидесяти рублях.

БЕЛЫЕ СТРИЖИ

В некотором царстве, в некотором государстве, на берегу красивой синей реки жил да был

восьмилетний мальчик Серёжа. Это был обыкновенный мальчик, как и сотни, сотни других мальчиков. Учился этот мальчик в школе, которая была далеко-далеко, в другой деревне. Учился он хорошо, и в школе его все любили.

Но, наверно, случается так в жизни, что те, кто тебя любить не обязан, любят тебя, а вот те, кто должен любить, не любят. Случилось такое и в Серёжиной жизни: дома его любили не все. Мама любила, а папа не любил. Не родной был папа. Серёжа этого не знал, но понимал, что папа его не любит.

Понимать он это стал давно, как только помнил себя, потому что папа никогда не покупал ему игрушек, никогда не гладил его по голове и почти никогда с ним не разговаривал. Случается, что смотрит он на Серёжу, смотрит, а глаза у него такие, как будто и не видит он ничего, как будто в пустоту смотрит. И Серёжа привык к этому. Настолько привык, что и не больно ему было, а если и больно, то только чуть-чуть, самую малость. А ведь если больно чуть-чуть, разве это больно, это совсем не больно. Так и жил мальчик Серёжа со своей маленькой незаметной болью.

И совсем не странно было, что, когда Серёжа был маленький, боль тоже была маленькой, но он подрастал, а с ним подрастала и боль. Однажды он не выдержал и спросил папу:

— Ты почему меня не любишь?

Посмотрел папа на Серёжу и вместо ответа спросил сам:

— А почему я тебя любить должен?

Серёжа этого не знал и ответить на папин вопрос не мог. Так и расстался он с папой — как будто и рядом жили, а как будто и нет.

Может быть, это, а может быть, что иное, только стал замечать Серёжа, что неуютно ему дома, грустно. Но не бывает так, чтобы человеку, пусть и не взрослому, всюду было плохо, где-то ему и хорошо должно быть. Серёже хорошо было на реке.

У этой красивой синей реки и название было красивое — Алей. В других краях такой реки не найти. Течёт она с гор, вода в ней голубая, берега песчаные, и если с одного бока берег пологий, то с другого — обрывистый. Но если берег и обрывистый, то он всё равно песчаный. Вдоль реки над обрывами и по всему лугу тугими островками кустарник разбросан. Такие островки зовутся забочками. Каждая забочка (за боком, значит) название имеет: Первая забочка, Вторая, Леночкина, Панюшовский Круг и ещё, ещё — вплоть до Орлова Мыса. А уж за Орловым Мысом забочки названий не имеют, идут они там до самой Оби одна за другой всливную, тугие да непролазные, перевитые и перекрученные ежевичником и хмелем.

Напротив Серёжиного дома берег на Алее с этого бока был

обрывистым. Каждое утро, как только на востоке расцветал малиновый околыш и начинало вылезать из-за бугра солнце, обрыв светлел, оживал и наполнялся птичьим щебетом. По всему обрывистому пролёту, изогнутому огромной подковой, ежегодно гнездились береговые ласточки, и если посмотреть на этот обрыв с другого берега, то походил он на огромное выгнутое решето, в каждой дырочке которого жили по две птицы. Это были береговушки, а местные жители звали их просто — стрижи.

Когда утром Серёжа приходил к обрыву, в стрижином огромном поселении поднималась тревога, звучали короткие пронзительные крики, и моментально, в считанные секунды в воздухе начиналась суматоха. Воздух вскипал. Сотни птиц покидали свои норки, тревожно кричали и успокаивались лишь тогда, когда Серёжа, спустившись под обрыв, садился на берегу и замирал. Проходила минута, другая, суматоха прекращалась и начиналось самое интересное. Птицы разбирались попарно и, словно привязанные невидимой нитью друг к другу, начинали кружиться у обрыва — пара за парой, пара за парой. По касательной, почти чиркая крылами песчаный обрыв, какая-нибудь пара делала несколько заходов и потом, словно сговорившись, отлетала к середине реки, круто разворачивалась и на полной скорости, в упор, друг за другом, влетала

в норку. Смотреть на это было интересно. Серёже было непонятно: как это стрижи умудряются среди сотен и сотен одинаковых норок находить именно свою и как это можно на такой скорости влететь друг за другом в маленькую-маленькую норку и не побиться. Однажды он даже спросил об этом у мамы, и мама сказала:

— Стрижи как люди. У каждого стрижа свой дом. Это тебе кажется, что все норки одинаковые, а ты присмотришься и увидишь — это совсем не так. Весь обрыв разный, а стрижи маленькие, они лучше нас видят всякие малости и по этим приметам запоминают свои норки. Вот и всё.

Серёжа маму выслушал и когда внимательней присмотрелся к обрыву, то оказалось, что мама говорила правду: обрыв был весь разный, с выемками, бугорками, и норки были разные.

Стрижи были неугомонными, но иногда они уставали и тогда садились на песок около самого берега. Взлетали они трудно, крылышки у них длинные, лапки короткие, и первое мгновение всегда казалось, что птицу кто-то держит, она бьёт крыльями по песку, барахтается, но взлетает. Стрижи никогда не летали молча, они постоянно разговаривали. Разговор у них нежный, журчащий. Стрижи замолкали к вечеру, когда солнышко валилось к закату. В такое время по всему обрыву начиналась большая охота на мошек. Великое молчание

этой охоты было зримо и слышимо, и Серёжа в такие минуты чувствовал, как всё в нём замирало и его охватывала какая-то непонятная тревога.

Шли дни и однажды Серёжа прибежал домой очень возбуждённый:

— Мама, мама, а белые стрижи бывают?

Мама сказала:

— Нет, белых стрижей не бывает.

— А вот и нет, а вот и бывают!

И он упросил маму сходить с ним к обрыву. Оказалось, что белые стрижи и правда бывают. Их было два. Белые, словно молоком облитые. Мама развела руками:

— Странно, в самом деле белые.

Дома за ужином, когда пили чай, она сообщила папе:

— Ты знаешь, а Серёжа нашёл белых стрижей. Двух.

— Как это — белых?

— Очень просто. Совершенно белые стрижи. Я сама видела. Летают, как две звёздочки, и, кажется, спаренные. Может, порода какая другая, а?

— Да ну вас, — папа махнул рукой. — Я стрижей всю жизнь знаю, но чтобы белые — не верю.

— А ты проверь, а ты проверь! — вступил в разговор Серёжа. — Они под нами живут, прямо у омота.

Папа усмехнулся и ушёл на крыльцо курить.

В ту ночь Серёжа долго ворочался и всё думал: а вдруг это и взаправду новая порода, выведут

они белых стриженят и навсегда полюбят этот обрыв. Серёжа знал, что стрижи выводят по шесть птенцов, и подсчитал, что года через три-четыре их будет так много, что уже можно будет не бояться — а вдруг да что случится. А пройдёт ещё несколько лет — и по всему обрыву расселятся только белые стрижи. Хорошо-то как! А как же чёрные, их ведь тоже станет больше? Конечно, обрыв большой, и чёрным найдётся место, а в крайнем случае пусть чёрные селятся у Первой забоки, там вон какой обрыв пустует. Серёжа расселял стрижей и так, и этак, и, в общем-то, получалось всё ладно, места хватало всем. Главное, чтоб прижились.

Когда Серёжа проснулся, папа уже пришёл с реки. Серёжин папа, тот самый, который никогда не покупал Серёже игрушек, никогда не гладил Серёжу по голове и почти никогда не разговаривал с Серёжей, ходил на реку смотреть белых Серёжинных стрижей! Уходя на работу, он сказал:

— Видел я твоих стрижей. Интересно...

Теперь чёрные стрижи Серёжу интересовали мало. Их было много. Белых было два и Серёжа очень за них переживал. Он долго боялся: не будут ли чёрные стрижи обижать белых. Но боялся он напрасно, чёрные стрижи белых не обижали, они приняли их в свою стаю как равных, вместе летали над обрывом, щебетали о чём-то известном лишь им

одним, как будто ничего особенного в том, что стрижи были белыми и не было. Белые стрижи, в свою очередь, вели себя мирно, так же, как и чёрные, садились на песок и так же трудно взлетали, ловили по вечерам мошек и ловко пили на лету из реки воду. Норку их Серёжа знал наизусть.

Каждый вечер он рассказывал маме и папе про своих стрижей. Серёжа рассказывал и не замечал того, что замечала мама. А мама замечала, что папа становился каким-то другим в отношении к Серёже. Он внимательно выслушивал эти рассказы, чему-то улыбался и даже разговаривал с Серёжей. В семье поселилась радость.

Но радость была не долгой. Скоро пришло горе. Про белых стрижей узнала вся деревня. На белых стрижей приходили смотреть. Смотрели, смотрели людские глаза на это чудо, и нашёлся-таки в деревне человек, который позарился на белую стрижиную жизнь. Мишке Воропаеву шёл двадцать второй год и работал он трактористом. Потом он будет говорить, что хотел подарить этих стрижей своей девушке. Дурак. Какой ещё девушке? Подарил бы двух кур!

Стрижей он зорил старым известным способом. Делается это просто: берётся проволока с метр длиной, с одной стороны загибается крючок и всё. Потом нужно сесть под обрывом, дожидаться, когда стрижи залетят в норку и быстро заткнуть норку камушком. После этого необходимо хорошо

примоститься на обрыве, вынуть камушек и, прикрывая норку одной рукой, другой при помощи проволочного крючка начать вываживать птиц из гнезда. Если работать крючком осторожно, то стрижи повреждены не будут и достанутся в руки целыми и невредимыми. Если крючком в норке крутить, то стрижей можно попортить, а то и подавить. Первого белого стрижа Мишка задавил.

Серёжа увидел Воропая под обрывом, когда тот пытался достать второго стрижа. Мёртвый стриж белым пятном валялся около Мишкиных ног. Запыхавшийся Серёжа вбежал домой вслед за пришедшим с работы папой. Папа был уже босой, он переодевался. Серёжа тяжело дышал и не мог говорить, но папа понял всё.

Они бежали к обрыву вдвоём — впереди, босиком, папа и сзади Серёжа. Второго стрижа Мишка вынул удачно. Он забросил крючок в Алей и, зажав птицу в кулаке, уже почти вылез из-под обрыва, когда перед ним возник Серёжин папа.

— Отдай стрижа, Михаил! Отпусти!

— Ох, герой! Отпусти! — Мишка был выпивши. — А вот этого не хотел? — и, сложив правый кулак в кукиш, поднёс его к папиному лицу.

Папа был ниже Мишки на голову, и Серёжа понимал, что Мишка сильнее папы и стрижа просто так не отпустит. Мишка тоже знал, что он сильнее, и,

чувствуя своё превосходство, куражился.

— Босой прилетел! Птичку ему... А я вот сейчас её давану — и тю-тю твоей птичке. — Он протянул вперёд левую руку со стрижом и хотел уже показать, как он его задавит. И тогда папа спокойно отвёл Мишкину руку в сторону и залепил Мишке пощёчину. Стриж вылетел. Потом Мишка ударил папу кулаком в губы. Папа пошатнулся, но устоял. Тогда Мишка ударил ещё раз и Серёжа даже не понял, как это получилось, что папа остался на обрыве, а Мишки не стало. Просто папа пригнулся и Мишка упал с обрыва вниз головой.

На следующий день папа на работу не пошёл. Он надел новый костюм, взял у мамы денег и ушёл на железнодорожный разъезд. Вернулся поздно вечером и привёз Серёже новую бамбуковую удочку и целую сетку детских книжек. Книжки были с картинками про птиц и животных. А Серёже сказал:

— Я узнал в городе, эти стрижи — альбиносы. Ты не переживай. Такое бывает и у птиц, и у зверей. Ничего, ничего — и вдруг все белые.

Задавленного стрижа Серёжа похоронил. Оставшийся в живых белый стриж исчез. До самой осени ходил Серёжа к обрыву, но белого стрижа не было. А Мишка до снега в гипсе ходил; когда с обрыва падал, руку ломал. Ломал как-то не хорошо. Ему её два раза складывали, а потом два раза ломали.